*В.С.Аулов*

CВОЯ ЖИЗНЬ

Пьеса-монолог в одном действии по рассказам А.И.Куприна "С улицы" и Ф.М.Достоевского "Сон смешного человека"

Со стороны зрительного зала появляется мужчина средних лет. Одежда его не нова, но опрятна. Он не очень уверенно, как будто чего-то, или кого-то ищет, идет по проходу. Наконец, останавливается около зрителя и предельно деликатно спрашивает: "Извините... У Вас не найдется 333рубля? Не больше и не меньше, а именно 333?" И после отрицательного ответа, с тихой улыбкой благодарит ("У меня, знаете, тоже нет") и идет дальше. Ситуация повторяется еще раз или два. Получив отрицательный ответ у крайнего зрителя, он на секунду задумывается и затем, как бы решившись, снова обращается к нему:

Мужчина - Вы меня еще раз извините, господин, но по вашей внешности и по разговору я всего скорее заключу, что вы, должно быть, сотрудник умственного труда. Может даже и пишите... Ну, что ж, может быть в таком случае, моя автобиография пригодится вам для воскресного фельетона или для популярно-научной статьи. Я с удовольствием, если позволите. Например, ее можно озаглавить: "К вопросу о том, как некоторые личности бестолково устраивают свою жизнь". (поднимается на сцену) Вы не против?...

Всегда непросто начать.. Если брать по-порядку... Отец мой был обойщик, имел собственную мастерскую в Кудрине, в Москве. А мать я плохо помню. Помню только, что была она женщина толстая и с одним глазом, а другим все как будто подмигивала кому-то. Помню еще, но это уж точно во сне, как ее при мне обнимал наш старший мастер Шикунов и говорил: "Ничего. Андрюшка маленький, он ничего не понимает, вот мы ему копейку дадим..." Пили они, должно быть, шибко, мой папаша с мамашей,-- всегда от них вином пахло,-- и лупили меня чем попало, как говорится: палкой, скалкой, трепалкой. Воспитанием моим неглижировали , и рос я, как сорная трава, на улице и на дворе. Настоящим же моим воспитателем был наш мальчик-подмастерье; его звали Юшка. Должен я вам сказать, видал я в моей жизни множество самых разных фигур. Но вот, ей-богу, такого безобразника и бесстыдника, как он, я ни разу не встречал. Чему он нас, мальчишек, учил, что заставлял нас делать там, за каретным сараем, между дровами, я вам даже не смею сказать -- совестно. Ей-богу. А ведь был он сам почти ребенок... Это еще пустяки, что мы курили, пили водку, играли в орлянку и в карты -- налево, направо -- и что я таскал у отца потихоньку деньги. Да и отец сам по праздникам, когда у нас бывали гости, забавлялся тем, что накачивал меня допьяна и заставлял плясать... Только c Юшкой то хуже бывало. Одиннадцати лет узнал я женщину; это было опять-таки на задворках, под руководительством того же самого Юшки. Удивительно, право! Этот человек совсем исчез с моего горизонта, и я не знаю, где он: на каторге или его убили где-нибудь, как собаку... Но никто никогда не имел на меня такого адского влияния. Боялся я его до чрезвычайности. Поверите ли: даже теперь иногда вижу его во сне, будто он меня дубасит, и от страха просыпаюсь... Однако я тем временем подрос. Не знаю уж, какой чудотворец пропихнул меня в гимназию, в приготовительный класс. Думаю, что не обошлось здесь без барашка в бумажке,-- сунули, должно быть, кому следует. Вот тут-то и началось хождение моей грешной души по мытарствам. В три года я, кажется, во всех учебных заведениях перебывал, в классических и реальных. Где учителю жеванной бумаги в карман насовал, где попался пьяным на улице. Приду, бывало, домой -- отец сразу по глазам видит. "Вышибли?" Я молчу. "Ах ты сукин сын! Вот погоди, отдам я тебя в сапожники, тогда взвоешь. Ступай принеси веревку". Наконец больше поступать стало некуда. Осталась всего только одна частная гимназия Хацимовского. Может быть, слышали? Зам-меч-чательнейшее было, доложу вам, учреждение, одним словом -- замок чудес и волшебств. Помещали туда больше купеческих сыновей и дворянчиков -- все исключительно тех, которых отовсюду уже вышвырнули. Деньги брали за учение солидные. И было это заведение вроде зверинца: архаровцы, скандалисты, обломы; все как на подбор -- самые развращенные мальчишки. На учителях верхом ездили. Ну, уж и учителя у нас были! Та-акие гуси!..

У Хацимовского я окончательный лоск получил. Но и оттуда меня в скором времени -- фить! За что? Да за разное. Длинная история. Началось это с того, что отобрал у меня надзиратель альбом этаких, знаете, карточек со стихотворными пояснениями моей собственной музы, ну и так далее... Что вспоминать!

 Пришел я домой. Отец опять было за веревку, но увидел, что я сильнее его стал, и осекся,-- стоп! Рассердился очень.

 -- Одна,-- говорит,-- тебе дорога осталась, орясина ты непутевая. Ступай в солдаты!

 Поступил я вольноопределяющимся. Четыре года подряд держал экзамен в юнкерское училище, никак не мог одолеть бездны премудрости. Наконец надоела, должно быть, моя физиономия экзаменаторам,-- пропустили.

 Да из училища в полк обратно отчисляли три раза за всякие художества. Из училища был выпущен подпрапорщиком, протрубил в этом кислом звании два года и был произведен в офицеры.

 Ну, о том, что я в офицерских чинах выкомаривал, не буду распространяться. Скажу коротко: пил, буянил, писал векселя, танцевал кадриль в публичных домах, сидел на гауптвахте. Но одно скажу: в картах всегда бывал корректен. А выкинули меня все-таки из-за карт... Впрочем, настоящая-то причина была, пожалуй, и похуже. Эх, не следовало бы. Ну, да все едино -- расскажу.

 Была у меня в полку любовница, жена одного офицера. Знаете: глушь, скверный южный городишко, тоска, грязь -- только и было у нас у всех развлечения: -- солдат по мордасам щелкать, да водка, да еще карты, да еще эти самые романы. И так мы усердно романсовали, что все, как есть, приходились родственниками друг другу. И никто в этом не видел ничего особенного. Так все и знали: такой-то живет с такою-то, а ее мужа застали с такой-то, а с ней живет поручик Иванов, а раньше поручик Иванов жил... словом -- маседуан.

 Звали ее Марьей Николаевной. Была она тоненькая, хрупкая, лицо, как у печального ангела,-- худенькое, нежненькое, ротик маленький, розовый, блондинка, глаза большущие, светлые, голубые. Образованная. Кончила институт с медалью, играла наизусть господина Шопена, хорошей дворянской фамилии была и со средствами. Много у нас вокруг нее народу вертелось, как тетеревей на току, но -- никому ничего. А я, знаете, подошел и взял ее наглостью, да еще так нечаянно вышло это, что я и сам не ожидал. Двое детей у нее было, две девочки.

 Делал я на пасху визиты. Собственно говоря, визиты -- это просто был предлог для сугубого пьянства. Наймешь на целый день фаэтон и жаришь из одного дома в другой. Приедешь куда-нибудь, а там целый стол выпивки и закуски: барашки эти самые из сливочного масла, мазурки, бабы с розанами, ветчина в бумажных завитках, терновки, зубровки, сливовица. Трах, трах, рюмок пять-шесть хлопнул, наврал-наврал и поехал к следующим знакомым. "Ах, что вы, мы ни с кем не целуемся!" -- "Нет, па-азвольте-с, какие же вы, барышни, после этого христианки? Не-ет. Даже и в Священном писании поется: друг друга обымем, рцем"... и так далее. Программа известная.

 Приехал я к Марье Николаевне уже под вечер. Сижу -- и ничего не соображаю, что ем, что пью, что болтаю. Муж ее, подполковник, рядом храпит в спальне, тоже с визитов вернулся. Время такое серенькое было, не то день, не то вечер, на дворе дождик, скука, часы стучат, разговор не клеится. Тоска на меня нашла. Стал я Марье Николаевне про свое детство рассказывать, про Юшку, про отца, про веревку, про то, как меня из гимназии гоняли. И заплакал. И ведь как человек бывает подл, послушайте. Сам плачу, сморкаюсь, слезы у меня и из глаз и из носу текут, трясусь весь, рассказываю красивой образованной даме самые грязные ужасы -- уж, кажется, всю душу вывернул наизнанку! А ведь нет,-- себя-то я все-таки в привлекательном виде выставил: что, мол, никем я не понятая, этакая возвышенная хреновина, вроде, что ли, Евгения Онегина; тяжелое детство, ожесточенная душа, ласки никогда не видел -- чего я тут только не намотал. Гляжу, а она тоже плачет. Склонила, знаете, голову набок, руки на коленях сложила, глаза огромные стали, светлые, а слезы по щекам бегут быстро, быстро, быстро. Тут и подхватило меня. Слышу я, что муж рядом храпит, кинулся к ней и точно первый любовник в театре: "О! неужели ты можешь плакать? О ко-ом? Обо мне? О, эти святые слезы! Чем я искуплю их?" А уже мну ее руками. Не сопротивлялась она, ни одного слова не сказала -- отдалась мне, как овечка. И лицо у нее все мокрое от слез было.

 Узнал я тогда, что это за штука -- власть над человеком. Сделалась Марья Николаевна с того вечера моей рабой. В буквальном смысле. Что хотел -- то с ней и делал. И она мне потом часто сама говорила: "Да, я знаю, что ты негодяй; ты -- грязный человек, ты развратник, ты, кроме того, еще маленький-маленький, подленький человечишка, ты алкоголик, ты изменяешь мне с самыми низкими тварями; ты всякой мало-мальски себя уважающей женщине должен быть омерзителен и физически и нравственно... и все-таки я люблю тебя. Я твоя раба, твоя собственность, твоя вещь. Если ты убьешь кого-нибудь, ограбишь, изнасилуешь ребенка,-- от тебя ведь всего можно ожидать,-- я все-таки не перестану тебя любить всю мою жизнь. Ты -- моя болезнь".

 Подобные акафисты она мне нередко читала, а также писала в письмах, и я эти слова запомнил хорошо... И отчего это так часто умные, милые, прекрасные женщины любят различных прохвостов? От противоположности, может быть? Ведь сколько, сколько я таких случаев видел в своей жизни. Вы думаете, она была какая-нибудь особенно страстная, Марья Николаевна? О, ничуть. Уступала всегда только моим настояниям, а то относилась ко мне, как мать. Не так, как моя родная мамашенька, которая меня произвела на свет и бросила, а по-настоящему: кротко, терпеливо, нежно, заботливо...

 Да. Я говорил сейчас про власть, и, можете себе представить, стала мне Марья Николаевна до того противна, что и сказать нельзя. Измывался я над ней зверским образом: гнал ее от себя, когда приходила; назначал свидания и раз по пяти не являлся; письма ее -- милые, ласковые, добрые письма -- на диване, на полу у меня по неделям валялись нераспечатанными. Деньги я тянул у нес постоянно, на кутеж, на игру, а то и на женщин брал. И знаете, что я вам скажу? Философская мысль. Никакое зло на сем свете не пропадает. Если ты еще мальчишкой у жука крылья оторвал, то и это тебе зачтется и приложится. Господь бог нам всем, у себя наверху, двойную бухгалтерию ведет: приход и расход -- все у него разнесено по графам. Впрочем, по Дарвину, бога нет. Ну, тогда -- судьба, это все равно. И я твердо уверен, что если меня впоследствии, ух, как здорово по затылку стукало, то это за нее, за Марью Николаевну. Оборвал я ей крылышки, погубил ее, затоптал, загрязнил ее душу, и все это делал без пощады, и ненавидел ее любовь до дрожи, до бешенства!..

 Раз собралась у меня холостая компания. Пили, играли, пели, потом опять пили и опять играли. Я проферпшилился дотла. Посылал дважды денщика к Марье Николаевне за подкреплением и опять прогорал. Помню, во второй раз она мне прислала записку: "Дорогой мой, постарайтесь воздержаться от таких поступков, в которых завтра будете сами раскаиваться. И что бы ни случилось, помните, что у вас есть друг, который все для вас готов сделать". Я это письмо в сенях, когда принимал от денщика деньги, разорвал на мелкие кусочки и швырнул на пол.

 Поручик Парфененко забрал все деньги, какие у нас у всех были в сложности, и вдруг заболел животом и убежал домой, потому что не хотел на мелок играть. А мы опять пить. Шли уже вторые сутки, без просыпу. Вот мы разговорились о наших дамах. У той ноги длинные, это хорошо, но зато худые очень: в платье красиво, а разденешь -- швах. У этой родинка на пояснице. У другой словечки есть такие особенные, излюбленные, в тайные минуточки-то. Третья вот так-то целуется. Одним словом, всех разобрали до последней жилочки. Что нам стесняться в родном отечестве? Вал-ляй!

 Стали про мою спрашивать. А я в пьяном задоре и ляпни: да хотите, только свистну, и она, как собачка, сюда прибежит и все вам сама покажет? Усомнились. Я сейчас же, моментально, с денщиком записку: "Так и так, дорогая Мари, приходите немедленно, иначе никогда меня больше не увидите."

 Что вы думаете? Прибежала. Бледная, запыхалась, еле на ногах держится. Вошла и стала в дверях, оперлась о косяк, губы синие, как у трупа, зубы стучат. "Здравствуйте, Андрей Михайлович! Шла мимо, вижу, свет, думаю, не у вас ли муж? Боялась, как бы вы его в карты не засадили. Вы ведь такой совратитель". Словом, невесть что бормочет, точно в бреду; ведь всему полку известно, что муж ее поехал в округ принимать боевые патроны! Говорит и сама старается улыбаться, а глаза -- огромные, синие -- глядят на меня с ужасом. Ух, ненависть меня взяла на нее. "Раздевайся",-- говорю. Сняла она тальму -- руки так и ходят, точно у пьяницы. Поняла ведь она, поняла с первой же секунды, чего я от нее хочу. Сняла тальму. А я кричу: "Дальше раздевайся, снимай лиф, юбку долой!" Она и не моргнула даже, глаз от меня отвести не могла. Взялась за верхнюю пуговицу -- расстегнула, стала вторую нащупывать, да сразу-то не найдет, пальцы прыгают. И ни слова, ни звука. Ну, тут товарищи вступились. Были они все пьяные, озверелые, красные, опухшие, но их эта пантомима уязвила. До того уязвила, что, когда она ушла,-- мы глядим,-- подпоручик Баканов в обмороке лежит. Был он совсем зеленый мальчик, застенчивый, вежливый такой, приличнейший, хоть и пил крепко. Обещались они -- и ей и мне -- все сохранить в тайне, но где же удержаться. Сделалась история известна всему полку, и чаша моих злодеяний, выражаясь высоким штилем, переполнилась. Стали все на меня глядеть этаким басом, вижу -- руку избегают подавать, а кто и подаст, так глазами шарит по бокам, точно виноватый. Открыто не решались мне ничего сказать, потому что жалели Марью Николаевну. Как-то сразу тогда догадались, что здесь не романец, не пустая связишка от скуки, а что-то нелепое, огромное, больное... И мужа ее жалели. Был он заслуженный шипкинский подполковник и пребывал и, кажется, до сих пор пребывает в сладком неведении.

 И все ждали случая.

 Как-то играли в собрании в ландскнехт. Подошел и я. Везло мне зверски в этот вечер, просто до глупости везло, но сердце у меня было какое-то тревожное, невеселое. И еще вот что странно: встретился я в передней с подпоручиком Бакановым, не поздоровались мы даже с ним, а только так, мельком взглянули друг на друга, но отчего-то сделалось мне вдруг как-то грустно и противно.

 Обошел круг раз семь или восемь, наступила опять моя очередь держать банк. Положил я, как теперь помню, направо двойку бубен, налево короля пик и выметываю середину, раз, два, три, пять, девять, вижу -- заметалась карта, и про себя твержу: "Заметалась -- в пользу банкомета" -- известное игрецкое суеверие. Наконец -- хлоп! -- выбрасываю двойку. Моя! Но -- ведь какая судьба! -- обмишулился: выпало сразу две карты. И вдруг слышу сзади: "Вы, подпоручик, кроме того, что негодяй, еще и шулер!" Я обернулся, а Баканов как швырнет мне целой колодой в лицо. И кто-то еще рядом по щеке ударил, и еще, и еще,-- со всех сторон! Я кричу: "Господа, позвольте же! Что такое? Это недоразумение!" А мне кричат: "Вон из собрания! Выгнать его! Выбросить в окно! Шулер! Завтра же вон из полка!"

 Вы понимаете: они не хотели Марью Николаевну скандалить перед всем обществом, и вот и придрались к случаю. Через два дня суд общества офицеров предложил мне подать прошение об увольнении в запас. Так и выкинули из полка, точно шелудивую собачонку... И поделом.

Два года после этого я существовал, но чем? -- ей-богу, до сих пор не знаю. Не платил за квартиру,-- это само собой,-- должал по кабакам, бегал в ломбарды. А главное, жил займами. Знакомых пропасть было в городе. Тут я глубоко постиг изречение: острить и занимать деньги надо внезапно. Встретишься с кем-нибудь на бульваре, поговоришь-поговоришь, а потом вдруг с этаким небрежным видом: "Ах, кстати, нет ли у вас до завтрашнего дня рубля или двух?" Рубль -- такие деньги, что ведь совестно не одолжить. И так, ничего не делая, умудрялся я не только не умереть с голоду, но еще каждый день к вечеру бывал в легком подпитии.

 Изредка перепадала кое-какая работишка. Один профессор как-то пожалел меня, поручил мне привести в порядок его библиотеку и составить каталог. Славный был старикан, весь серебряный, красивый такой и доброты неописуемой. Месяцев семь я у него устраивал библиотеку, а как вздумал он однажды ее проверить,-- так и ахнул, бедняга. Заплакал даже. "Хоть скажите мне, говорит, ради бога, кому продавали? Я втрое, вчетверо дороже отдам, это ведь все редкости, единственные экземпляры!" Жалко мне его стало ужасно, сам я прослезился, только где же упомнить? Продавал все больше на толкучке из рук в руки. А то на вес.

 Женщины меня тоже поддерживали. И вот судьба моя какая проклятая: все мне попадались бабы самые душевные, самые кроткие -- даже между кухарками, торговками, даже между обыкновенными панельными девицами. Почему уж это так выходило -- черт их знает! Я не знаю...

 Но все-таки жить приходилось со всячинкой. Узнал я ход в ночлежки. Раз пришел я как то в одну поздно и сильно дрызнувши. Мне показали свободную койку, я и лег.

 Рано утром дворник всех будит, по положению. Я не выспался, голова трещит с похмелья, зол -- как сто дьяблов. Смотрю, напротив меня копошится молодой человек, острижен ежиком, бородка под Генриха Четвертого ,но белье на нем, с позволения сказать, заношено до последнего градуса. Я гляжу с неудовольствием: что будет дальше? Начинает молодой человек чистить сапоги. Чистил-чистил, кряхтел-кряхтел, наконец кончил: в сапоги хоть смотрись; потом принимается так же рачительно чистить пиджачок, желеточку; потом вдруг вынимает из-под матраса панталоны; оказывается, он на них всю ночь спал. Я спрашиваю: "Это вы что же, юноша, для сохранности? Чтобы не украли?" Он смеется. "Нет, это я для того, чтобы фасон не терялся, лучше будут сидеть". Я говорю: "Не все ли равно, как, в нашем с вами положении, сидят панталоны? Была бы только чистая совесть и рюмка водки". А он смеется и спрашивает: "Что такое совесть? Ее едят?" А сам тем временем оделся: манишку бумажную с гвоздя снял, воротничок чистенький, галстук черный с синими звездами,-- смотрю, ах ты, черт! -- прямо член жокей-клуба из журнала мод, и даже на панталонах спереди складки. Я говорю: "Вот так превращение!" А он только улыбается: "Нам иначе нельзя".

 Понравился он мне, вижу -- человек не скучный... Слово за слово, закатились мы с ним в один кабачок, в другой, в бильярдную... Наконец вижу -- иссякли наши фонды окончательно, и расплатиться нам нечем. Тогда он спрашивает, который час. "Четыре? Подождите меня с четверть часа". Шапку с дворянским околышком на голову и в дверь. Повесил я нос на квинту и говорю самому себе: "Ну, старый дружище, теперь центр тяжести перенесен на тебя. Очевидно, дело без участка не обойдется. Ловкий, однако, пассаж устроил юноша". Но тем не менее жду. Спросил газету. Проходит четверть часа, и двадцать минут, и полчаса, и больше... Я уж успел даже все объявления перечитать. Лакей ходит мимо меня с самым наглым видом. Подойдет к столу и давай салфеткой у меня под носом скатерть обмахивать и посуду без нужды переставлять. Что делать? Набрал я уж было воздуху, чтобы счет спросить, как вдруг вбегает мой молодой человек. "Что? Заждались небось?" -- "Н-да-а, признаться..." -- "Ну, это пустяки. Человек, сколько следует?" -- "Два двадцать".-- "Дай еще бутылку красного вина и получи". Бряк -- золотой на стол.

 Сдружились мы с ним за этот день, а вечером он мне во всем открылся. "Дело мое, говорит, очень простое, хотя и не такое легкое, как кажется спервоначалу. Я -- стреляю".-- "То есть как это стреляете? Просите на бедность?" -- "Н-нет, не совсем так. Просят на бедность на улице личности небритые, с сизыми носами и в рубище; для таких двугривенный -- богатство Шехеразады. А вы сами посудите, кто же мне рискнет предложить двугривенный, если у меня форменная фуражка, чистенький костюмчик и вдобавок хорошая дворянская фамилия? Являюсь я прямо на дом, приказываю о себе доложить, представляюсь, как равный, за ручку. "Прошу извинить меня за беспокойство, временно нахожусь в стесненных обстоятельствах, со дня на день ожидаю получения места..." и прочее и прочее... Как у него хватит духу дать мне меньше рубля? Ни в жизнь не хватит".

 Понравилось мне все, что он рассказывал. Попробовал и я на другой день эту тактику. Страшно было сначала, но ничего, понемногу обтерпелся, привык, и стал стрелять почем зря. Оно -- и унизительно и опасно, но занимательно и всегда деньги в кармане -- большие, легкие деньги.

 Рассчитываешь всегда на психологию. Являюсь я, например, к инженеру -- сейчас бью на техника по строительной части: высокие сапоги, из кармана торчит деревянный складной аршин; с купцом я -- бывший приказчик; с покровителем искусства -- актер; с издателем -- литератор; среди офицеров мне, как бывшему офицеру, устраивают складчину. Энциклопедия!.. Лавируешь и скользишь, как змея, каждую минуту начеку, весь внимание: не сорваться, но переборщить, не впасть в нищенский тон. Все время смотришь ему в глаза, нет, и не в глаза, а в переносицу -- так, по крайней мере, и сам неловкости не испытываешь, и ему кажется, что это у тебя такой прямой и честный взгляд бедного труженика, преследуемого судьбой. Главное -- жди, пока он не сконфузится: за тебя, или за себя ему станет стыдно, или за свой роскошный кабинет. Самого твердого человека можно в конце концов так застыдить, что он глазами забегает и начнет рукой в кармане нащупывать портмоне. Тут сейчас же нажми педаль, тут уж не бойся перестараться. Все равно он тебе в душе не верит и гадок ты ему до последней степени, но уж не дать он не посмеет, не решится.

 Правда, бывали и обратные случаи, что и побить могли...

 Но это были случаи единичные. Потому что,-- говорю это, как перед богом, люди, если только их брать не гуртом, а по отдельности, большею частью хорошие, добрые, славные люди, отзывчивые к бедности. Правда, помогают они чаще не тем, кому следует. Ну, что ж поделаешь: наглость всегда правдоподобнее нужды. Ведь так?

 Потом, еще чем эта жизнь была приятна, так это свободой. Надоело в одном городе -- стрельнул на дорогу, иногда даже билет второго класса выудишь, уложил чемодан,-- айда в другой, в третий, в столицу, в уезд, по помещикам, на Волгу, на Кавказ. Денег никто не копил, все проживалось. Женщины -- те иногда откладывали на сберегательные книжки, но и то до первого любовного увлечения.Помогают им иногда довольно крупно, но если хорошенькая -- редко задаром.

 Если хотите, пожалуй, было и интересно. Но только сначала, а потом... Уж очень народ они сволочь, эти стрелки, хуже арестантов. У тех, по крайней мере, есть хоть какое-нибудь товарищество, дерзость, удаль есть. У этих -- ничего. За рубль продадут и выдадут друг друга, напакостят, донесут, насплетничают. Завистники, лгуны, трусишки, жадные. Мразь одним словом! До сладенького куска охочи, а работу ненавидят всеми фибрами души. Что ж, я ведь и о себе здесь говорю... Ну-с, попал я таким стрелковым порядком в Крым. Крым, знаете, да и вообще юг, это настоящее гнездо всех шатунов и аферистов; кто раз побывал там, того уж непременно опять туда потянет. Тепло, море, горы, красота, деньги кругом шалые. Оттого там всегда так и кишит бездельный народ.

 Застрял и я. С одной стороны, с бабой связался, а кроме того, стала у меня идти кровь горлом. Вот я там и пустил корни.

 Сначала везло мне, но вдруг оборвалось, Наступила зима, холодно, а я совсем ослаб, ночью потею, днем трясет меня, начну кашлять -- чуть с ног не валюсь. Беда! Главное -- сезон кончился, золотые овцы уехали в Москву, в Петербург, осталась только одна болящая голь. А местным жителям, аборигенам, так сказать, моя личность до тошноты примелькалась. Встречают сухо: "По-звольте-с, это опять вы? В четвертый раз?

 Женщина меня бросила. Красивая она была, бестия, горячая, злая, нетерпеливая, алчная,-- одна такая мне за всю жизнь и попалась. Жить любила широко. Полька. Напоследок оскандалила меня на улице,-- рассердилась, что я ничего не достал. "Ты, кричит, стрелок несчастный, гадина острожная, дохлая падаль!" Ушла и домой не вернулась.

 Потерял я голову. Кое-как, по милости одного капитана, перебрался пароходом из Крыма сюда. Здесь пошло еще хуже, просто -- шабаш! Зима суровая, хожу в летнем пальтишке, сапоги дырявые, от кашля корчусь в три погибели. Как я жив тогда остался -- удивляюсь! И хуже всего -- всякую смелость потерял. Прошу -- голос срывается, слезы душат. И тут-то я узнал, что на истинную, заправдашную нужду трудно найти сожаление. Настоящее горе всегда почему-то ненатуральным выходит. "Ты пьян, мерзавец, от тебя несет, как из погреба, ступай проспись". А я не то что не пил -- не ел со вчерашнего дня.

 Пошел я к доктору. Нарочно со злобы выбрал самого дорогого. И что вы думаете? -- оказался распрекраснейшим человеком. Лечил даром, деньги давал на лекарство, костюмами снабжал, которые, знаете, второго срока. Пальто подарил теплое на шерстяной вате.

 Стал я понемногу поправляться. Однажды мой доктор и говорит: "Слушайте, сэр, не все же вам без дела околачиваться; у меня есть для вас в виду место. Хотите поступить лакеем в "Северную звезду"?" -- "Помилуйте, с руками, ногами!" -- "Ну, так отправляйтесь туда завтра к одиннадцати часам, спросите хозяина и скажите, что от меня пришли. Он уже знает".

Подумал я, подумал, и пошел к хозяину проситься. Тот сначала было глазами захлопал. "Помилуйте, вы -- бывший офицер, вам ведь "ты" будут говорить: да, знаете, и мне будет неловко с вами обращаться, как с официантом, а делать разницу -- вы сами понимаете -- неудобно". Но я его успокоил тем, что открыл ему часть моей жизни -- не самые, конечно, темные места, но все-таки рассказал кое-какие приключения. Согласился. Умный был мужик.

 На первых порах крепко меня лакеи утесняли: Но недолго. Трудно также было привыкать к службе. Лакейское дело только с виду кажется таким легким. Прежде всего целый день торчишь на ногах -- бывают дни, что и присесть некогда. Старые лакеи меня, впрочем, с самого начала учили, что лучше и совсем не садиться, а то разомлеешь и весь разобьешься.

 Потом память нужна особая: на какой стол подаешь, что на кухне заказано.. Перепутаешь -- сердятся.

 Но и тут я скоро освоился и стал работать не то что не хуже, а даже лучше других. Страшно меня полюбили постоянные гости, особенно те, которые в кабинеты ездили с порядочными дамами. А уж если дама в кабинет пришла сначала с одним мужчиной, а потом с другим, то, будьте покойны, мы отлично разберем, который муж и который так. И не было у нас для них других слов, как сволочь, шантрапа и прохвост.

 Еще у нас был любимый разговор о хозяевах гостиниц: как кто из них пошел в гору. Вот где я узнал настоящие "Тайны мадридского двора"! Что ни имя -- то преступление: грабеж, убийство или еще хуже.

 Не угодно ли, вот вам коллекция. Ищенко: отель "Берлин", первоклассная гостиница, в ресторане по вечерам играют румыны, двадцать тысяч чистого дохода. И сейчас же историческая справка: служил швейцаром в публичном доме, через три года открыл темный кабачок, через пять -- "Берлин", теперь держит своих рысаков на бегах. Замечательно, что именно в том доме, где он был швейцаром, видели в последний раз помещика Оноприенко, который -- может быть, помните? -- исчез бесследно. По этому поводу держали Ищенко шесть месяцев в тюрьме, но выпустили по недостатку улик.

Теперь -- Казимир Хржановский. Сад "Тиволи" с кафешантаном. Ездит на автомобиле. Занимался сводничеством; трех своих сестер пустил в оборот, каждую по пятнадцатому году, чем и положил основание дальнейшей карьере. Нагурский был на содержании у шестидесятилетней старухи. Малиевич -- меблированный дом на Большой Дворянской, триста номеров -- то же самое, только еще хуже, стыдно говорить, И так далее. Словом, все "Уложение о наказаниях" в лицах. Да и вообще, должен заметить, что я в эти рассказы о мужичках-простачках, которые приходят в столицу с лаптями за спиной, а умирают в тридцати миллионах,-- я в эти рассказы плохо верю. В фундаменте таких внезапных богатств лежит всегда мошенничество, если не кровь.

 Вы думаете, мы их осуждали? О, наоборот. Только, бывало, и слышишь: "Эх, молодчинище, как ловко обтяпал! Чего зевать? Дай мне в руки такой случай, я бы и сам по голове кокнул!" Разгорались мы все, когда об этих вещах говорили.

 Особенно один. Был у нас такой официант, Михайла. Много говорить он не любил, но когда эти разговоры пойдут, его и силой не оттащить. Да как, да что, да куда деньги спрятали -- даже надоест иногда. И глаза станут черные такие, масленые. Служил он лакеем в первом этаже.

 Почему я так ему понравился, уж не умею сказать. Должно быть, общая у нас судьба была, и потому тянуло нас друг к другу. Стали мы с ним как будто от прочих товарищей уединяться. И все у нас разговор об одном, все об одном. И наконец мы оба в этих разговорах последний стыд потеряли. Настоящего слова еще не сказали, но уже чувствовали, что нам даром не разойтись.

 А я к тому времени опять прихварывать начал. Перемогался изо всех сил. Случалось -- подаю на стол, вдруг как забьет меня кашель. Сначала держусь, а потом, когда не станет возможности, брошу приборы на стол и бегом в коридор. Кашляю, кашляю, даже в глазах потемнеет. Этаких вещей ведь в хороших ресторанах не любят. Ты, скажут, или служи, или ступай в больницу ложись. Здесь не богадельня. У нас публика чистая.

 Так и чувствовал, что мне вот-вот по шапке дадут. И думал я: опять улица, холод, клопы в ночлежках, конская колбаса, грязь, гадость.

 Самое тяжелое это время было в моей жизни. Бывало, в мой выходной день брожу по улицам и мечтаю: вдруг кто-нибудь бумажник потерял, а я найду, а в нем три тысячи... Или вдруг подходит ко мне старенький, добренький миллионер и спрашивает с участием: "Почему у вас такой грустный вид, симпатичный молодой человек? Скажите откровенно, что вас тревожит? Может быть, я смогу помочь вам?"

 В это время и приехал к нам в гостиницу этот человек.

 Был он крупная шишка. Управлял какими-то имениями на Кавказе; на Волге, кроме того, что-то орудовал с нефтью и с железом. Видел я его каждый день. Утром, бывало, выйдет к завтраку -- в час или в два,-- просто страшно на него смотреть. Огромный, опухший, лицо земляное, под глазами черные мешки, а глаза оловянные, бессмысленные, чуть не выскакивают наружу. Дышать ему очень трудно было; что-то такое делалось у него с легкими или с сердцем,-- кажется. Ляжет грудью на стол, локти растопырит и дышит не то что горлом, а спиной, и животом, и головой. Набирает воздуху -- голову и грудь подымет кверху, рот раскроет, а как выпустит воздух, так весь и рухнет опять на стол. Так и трепыхается, бедный, с полчаса. Но ничего: ошарашит перед завтраком сколько-нибудь водки, бутылку гретого красного вина, глядишь -- и поправился и повеселел.

 Крупные он, должно быть, дела делал, и все с шуточками, с приговорками, за обедом, за шампанским. Но и в карты сильно играл и развратничал широко. Щедрый был. Много от него нашему брату перепадало.

 Остановился он в четвертом номере, у Михайлы, в бельэтаже, и странно,-- с этих пор у нас с Михайлой нашу дружбу -- чик! -- точно ножом отрезало. Охладели друг к другу-- и шабаш. Только раз, помню: кончил я службу и иду вниз по лестнице, а он меня сверху кличет: "Андрей!" Гляжу, он через перила перевесился и манит меня пальцем. И лицо все у него кривится, как у дьявола: не то смеется, не то нарочно рожи строит. Я поднялся к нему, спрашиваю: "Что?" А он говорит: "Вчера Николай Яковлевич (это так номера четвертого звали), вчера Николай Яковлевич пьяный вернулся, и, когда лег, сейчас же захрапел, и двери не успел запереть. Я его толкал, толкал: "Не угодно ли, мол, раздеться?" Ку-да!" Понял я, поглядел на Михайлу, он на меня. "Так что же?" -- шепотом спрашиваю. А он этак, с растяжкой: "Да н-ниче-го".-- "Прощай, говорю, Михайла". А он опять так же лениво: "Прощай, Андрей".

 А потом и случилось это самое. Подал я вечером в красный кабинет и стою в коридоре около часов. Было четверть первого. Вдруг точно меня кто-то сзади толкнул в спину. Обернулся, гляжу -- в конце коридора стоит Михайла. Лицо белое,-- такое белое, что от манишки не отличишь. Стоит -- и ни звука. И знаете,-- удивительно: сразу я понял, в чем дело. И ни он мне не сказал ничего, ни я ему. Но заметил я, что у него на руках белые перчатки.

 Он впереди шел, я сзади. Подошли к номеру четвертому. В коридоре ни души, и уж лампы потушены. Я шепчу ему: "Тише!" А он нарочно со всего размаха как дернет дверь! И сейчас же меня вперед пропихнул и запер дверь на ключ.

 Темно было в номере,-- так темно, что я Михайлу сразу же потерял, да и сам не могу понять, куда я попал, где двери, в какую сторону идти? Заблудился. Вдруг слышу -- чиркнули спичкой, огонь. Гляжу, Михайла в комнате около зеркала зажигает свечку; думаю: "Что же он, болван, такое делает?" А он со свечкой моментально за перегородку в спальню. Слышу, говорит: "Барин, а барин, Николай Яковлевич, извольте раздеваться, неудобно вам так будет. Позвольте, я вас в кроватку уложу".

 Помолчал немного и вдруг опять: "Эй, ты, бугай черкасский, вставай! А то как дам каблуком в живот!" И опять тихо, только слыхать, дышит барин тяжело так, с натугой. Вдруг Михайла зовет меня: "Андрей, поди сюда".

 Вошел я за перегородку. Лежит Николай Яковлевич на спине, живот огромный, как гора, рот раскрыт, и по бороде слюни потекли, одна нога на кровати, другая вниз свесилась. Ох, как же он дышал! Видали рыбу, когда ее на берег вытащат? Точь-в-точь. Видно, попадала ему в легкие всего одна чайная ложечка воздуху, так он ее ртом, и носом, и горлом... Стонет, кряхтит, нудится, и лицо все искривилось, а проснуться не может...

 А Михайла опять: "Просыпайся, что ли, нечистая душа! Вот мы вдвоем пришли тебя раздевать!" Да с этими словами моментально хвать у него одну подушку из-под головы. Тот ничего, только головой, как теленок, мотнул, всхлипнул и опять давай воздух ловить. Обернулся ко мне Михайла, страшный такой, точно зверь. "Садись, говорит, на ноги и держи". А сам подушку ему на лицо и -- навалился.

 Что Михайла делал, я не видал, не знаю: спиной он ко мне был. Помню, дрыгнул барин ногами раз, два, три, но совсем слабо, потом как будто икнул один раз,-- и все. Должно быть, и сам не заметил, как умирал. Был я точно в отупении. Чувствую, тянет меня Михайла с кровати: "Слезай!" Встал я, ничего не понимаю! Вижу, Михайла шарит по комодам, по столам, в одежде; вижу, Николай Яковлевич лежит уж на двух подушках и ноги вместе, точно спит, а я, как идиот, ничего не понимаю.

 Потом стало опять темно... Михайла мне шепчет: "Пойдем... кончено..." У меня ни страха, ни жалости,-- одеревенел весь. Подошли к двери, послушали -- тихо, вышли в коридор -- никого! Поглядел на меня Михайла и говорит: "Эх, дурень, на что ты похож! Иди ко мне в буфетную, выпей водки". Я ушел, а он еще остался в коридоре.

 Знаете, сколько времени это все заняло? Восемь минут! Меня даже ни в одном кабинете не успели хватиться. Я нарочно в оба забежал и спросил: "Не вы изволили звонить?" -- "Нет, говорят, мы не звонили". И ведь сложилось же так: ни один официант не заметил, что я уходил.

 Спал я в эту ночь спокойно. Даже ни разу не проснулся. Это уж потом, мне все мерещилось, как его ноги у меня под руками дрыгали и как рядом стакан дребезжал... Зато как утром проснулся, так и ошалел от ужаса. "Господи, думаю, да неужели же это было не во сне? Ведь человека, человека мы убили с Михайлой!"

 Оделся я, вышел во двор. Было утро раннее. На улицах никого. Толкнулся я к Михайле -- говорят, дома не ночевал, должно быть, в гостинице остался. В ресторан мне идти рано, да и не могу туда идти -- противно. Ходил я, ходил по городу. Отворили турецкие кофейни, там посидел. Гляжу на людей и думаю: "Все, все вы счастливые, у каждого свое дело, у каждого чистые руки... а я!"

 Потом пошел на бульвар. Солнце взошло. Сыро на дорожках. Гимназистки идут в гимназию -- маленькие болтушки, личики свеженькие, только что вымытые... Сел я на скамейку и задремал. Вдруг вижу, идет городовик и этак сызбоку на меня посматривает, точно ворона на мерзлую кость. А у меня сейчас же мысль: "Подозревает"... Подошел он ко мне. "Сидеть, господин, на бульваре каждому дозволяется, которые проходящие, этого мы не запрещаем, а чтобы спать -- нельзя. У нас пальцимейстер. Строго".

 И что тут такое со мною случилось,-- я до сих пор понять не могу. Встал я со скамейки и говорю ему: "Городовой, веди меня в участок, я этой ночью человека убил".

 Не поверил он сначала. "Иди, проспись. Вино в тебе вчерашнее бродит!" Подумал я было одну секунду: "Может быть, это сама судьба благоприятствует? Уйти разве?" Но почему-то не смог уйти. Отвел он меня.

 Вот и все. Михайла упирался сначала, но под конец не выдержал, сдался. Улик против него никаких не было, кроме меня. Ох, какой же твердый человек он был! Представьте себе, пока я ходил к нему водку пить, что он сделал. Гостиница у нас была хоть первоклассная, но старинной постройки, и на дверях еще оставались внутренние крючки. Так он, прежде чем уйти, поставил крючок стоймя да как дверью-то хлопнул, так крючок и запал сам собой в петлю. Руки у него осматривали -- ни одной ссадины: недаром он перчатки тогда надел. Словом, не признайся я, никогда бы на нас и подозрения не пало.

 На суде, защитник у меня был знаменитый. Он так и говорил: "Во всех действиях подсудимого видна бессмысленность, слабоволие и слабоумие. Его одинаково можно вовлечь и в хорошее и в дурное". Здорово он во мне разобрался -- до нитки. И про отца вспомнил, и про Юшку, и про разные мои болезни... Меня оправдали, а Михайлу, как главного зачинщика, а также за его упорство, закатали на шесть лет. Держали меня потом полгода в сумасшедшем доме, но решили, что безвреден. Доктор правда положил мне все больше рассказывать, ничего не скрывая в сердце. В этом моя:" Надежда и спасение",-сказал. С этим и выпустили на волю.

 Выйдя оттуда, я вдруг почувствовал, что мне совершенно все равно было бы, существовал ли бы мир, который я знал, или еслиб нигде ничего уже не было. Совершенно Все равно, Все равно...

Однажды я возвращался в одиннадцатом часу вечера в комнату, которую снял на последние деньги. Дождь лил весь день и это был холодный и мрачный дождь... Вот тогда я и положил в эту ночь убить себя. У меня это было твердо положено еще два месяца назад и как я не беден, а купил револьвер и в тот же день зарядил его. Таким образом, в эти два месяца я каждую ночь, возвращаясь домой, думал, что застрелюсь. Я все ждал минуты. И вот теперь, этот дождь дал мне мысль, что это будет непременно теперь.

Когда я подходил уже к дому, меня вдруг схватила за локоть эта девочка. Улица уже была пуста, и никого почти не было. Девочка была лет семи, в платочке и в одном платьишке, вся мокрая, но я запомнил особенно ее мокрые разорванные башмаки. Она вдруг стала дергать меня за локоть и звать. Она не плакала, но как-то отрывисто выкрикивала какие-то слова,которые не могла хорошо выговорить, потому что вся дрожала мелкой дрожью в ознобе. Она была отчего-то в ужасе и кричала отчаянно: "Мамочка! Мамочка!" Я обернул было к ней лицо, но не сказал ни слова и продолжал идти, но она бежала и дергала меня, в отчаяньи. Хоть она и не договаривала слова, но я понял, что ее мать где-то помирает, или что-то там с ними случилось, и она выбежала позвать кого-то, найти что-то, чтоб помочь маме. Но я не пошел за ней, и, напротив, у меня явилась вдруг мысль прогнать ее. Я сначала ей сказал, чтоб она отыскала городового. Но она вдруг сложила ручки и, всхлипывая, задыхаясь, все бежала сбоку и не покидала меня. Вот тогда-то я топнул на нее и крикнул. Она прокричала лишь: "Барин, барин!.." -- но вдруг бросила меня и стремглав перебежала улицу: там показался тоже какой-то прохожий, и она, видно, бросилась от меня к нему.

 Я поднялся в мой пятый этаж. Комната у меня маленькая, а окно чердачное, полукруглое. Сел у стола, зажег свечку, вынул револьвер и положил перед собою. Когда я его положил, то, помню, спросил себя: "Так ли?", и совершенно утвердительно ответил себе: "Так". И уж конечно бы застрелился, если б не та девочка.

 А тогда, вдруг возник передо мной вопрос, и я не мог разрешить его. Вопрос был праздный, но я рассердился. Рассердился вследствие того вывода, что если я уже решил, что в нынешнюю ночь с собой покончу, то, стало быть, мне все на свете должно было стать теперь, более чем когда-нибудь, все равно. Отчего же я вдруг почувствовал, что мне не все равно и я жалею девочку? Я помню, что я ее очень пожалел; до какой-то даже странной боли... И это было какое то новое, или по крайней мере давно забытое чувство.

За этими размышлениями, которые отдалили выстрел, я вдруг и заснул, чего никогда со мной не случалось прежде: за столом сидя, даже как бы продолжая рассуждать о тех же материях. Вдруг приснилось мне, что я беру револьвер и наставляю его прямо в сердце. При этом, свечка моя, стол и стена передо мною вдруг задвигались и заколыхались. Я поскорее выстрелил.

С выстрелом моим все во мне сотряслось и все вдруг потухло, и стало кругом меня ужасно черно. Я как будто ослеп и онемел, и вот я лежу на чем-то твердом. Кругом ходят и кричат... И вот уже меня несут в закрытом гробе. И я чувствую, как колыхается гроб, и рассуждаю об этом, и вдруг меня в первый раз поражает идея, что ведь я умер, совсем, совсем умер.

 И вот меня зарывают в землю. Все уходят, я один, совершенно один. Я лежал и, странно, -- ничего не ждал, без спору принимая, что мертвому ждать нечего. Но было сыро. Не знаю, сколько прошло времени, -- час или несколько дней, или много дней. Но вот вдруг на левый закрытый глаз мой упала просочившаяся через крышу гроба капля воды, за ней через минуту другая, затем через минуту третья, и так далее, и так далее.. Глубокое негодование загорелось вдруг в сердце моем, и вдруг я воззвал, не голосом, но всем существом моим к властителю всего того, что совершалось со мною:-- Кто бы ты ни был, но если ты есть и если существует что-нибудь разумнее того, что теперь совершается, то дозволь ему быть и здесь. Я воззвал и смолк. Целую почти минуту продолжалось глубокое молчание, и даже еще одна капля упала, но я знал, я знал, что непременно сейчас все изменится. И вот вдруг разверзлась могила моя и я был взят каким-то темным и неизвестным мне существом, и мы очутились в пространстве. Была глубокая ночь, и никогда, никогда еще не было такой темноты! Мы неслись в пространстве уже далеко от земли. Я не спрашивал того, который нес меня, ни о чем. Я ждал, но страх нарастал в сердце моем.

Мы неслись в темных и неведомых пространствах. Я давно уже перестал видеть знакомые глазу созвездия.. И вдруг увидел наше солнце! Я знал, что это не могло быть наше солнце, породившее нашу землю, и что мы от нашего солнца на бесконечном расстоянии, но я знал почему-то, что это совершенно такое же солнце, как и наше, повторение его, двойник.

 -- Но если это -- солнце, если это совершенно такое же солнце, как наше, -- то где же земля? -- И мой спутник указал мне на звездочку, сверкавшую в темноте. Мы неслись прямо к ней.

 -- Неужели возможны такие повторения во вселенной, неужели таков природный закон?.. И если это там земля, то неужели она такая же земля, как и наша... совершенно такая же, несчастная, бедная, но дорогая и вечно любимая?

 Образ бедной девочки, которую я обидел, промелькнул тогда передо мною.

Вдруг, совсем как бы для меня незаметно, стал на этой другой земле в ярком свете солнечного дня. Спутник мой уже оставил меня. Я стоял, кажется, на одном из тех островов, которые составляют на нашей земле Греческий архипелаг.

 Все было точно так же, как у нас, но, казалось, всюду сияло каким-то праздником. Изумрудное море тихо плескало о берега и деревья стояли во всей роскоши своего цвета. А птички стадами перелетали в воздухе , не боясь меня, радостно садились на плечи и на руки. Наконец , я увидел и людей счастливой земли этой. Они пришли ко мне сами, они окружили меня, целовали меня. Дети солнца, дети своего солнца... Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке. Разве лишь в детях, в самые первые годы их возраста, можно бы было найти отдаленный, хотя и слабый отблеск красоты этой.

Это была земля, не оскверненная грехопадением, на ней жили люди не согрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, по преданиям и наши согрешившие прародители, с тою только разницею, что вся земля здесь была повсюду одним и тем же раем. Эти люди, радостно смеясь, теснились ко мне и ласкали меня; они увели меня к себе, и всякому из них хотелось успокоить меня. Они не расспрашивали меня ни о чем, но как бы все уже знали.

 Порою я спрашивал себя в удивлении: как могли они, все время, не оскорбить такого как я и ни разу не возбудить в таком как я чувство ревности и зависти? Много раз я спрашивал себя, как мог я, хвастун и лжец, не говорить им о моих познаниях, о которых, конечно, они не имели понятия, не желать удивить их ими, или хотя бы только из любви к ним? Они были резвы и веселы как дети. Они блуждали по своим прекрасным рощам и лесам, они пели свои прекрасные песни, они питались легкою пищею, плодами своих деревьев, медом лесов своих и молоком их любивших животных. Для пищи и для одежды своей они трудились лишь немного и слегка. У них была любовь и рождались дети, но никогда я не замечал в них порывов того жестокого сладострастия, которое постигает почти всех на нашей земле и служит единственным источником почти всех известных грехов. Они радовались являвшимся у них детям как новым участникам в их блаженстве. Между ними не было ссор и не было ревности, и они не понимали даже, что это значит. Их дети были детьми всех, потому что все составляли одну семью. У них почти совсем не было болезней, хоть и была смерть; но старики их умирали тихо, как бы засыпая, окруженные прощавшимися с ними людьми, благословляя их. Скорби, слез при этом я не видал. Они любили слагать песни друг о друге и хвалили друг друга как дети. Казалось, и всю жизнь свою они проводили лишь в том, что любовались друг другом. Это была какая-то влюбленность друг в друга, всецелая, всеобщая. От ощущения полноты их жизни мне захватывало дух, и я молча молился на них.

Все теперь смеются мне в глаза и уверяют меня, что во сне нельзя видеть такие подробности, какие я передаю теперь, что во сне моем я видел или прочувствовал лишь одно ощущение, порожденное в бреду, а подробности уже сам сочинил, записав, проснувшись. И когда я открыл им, что, может быть, в самом деле так было, -- боже, какой смех они подняли мне в глаза и какое я им доставил веселье!

Но, знаете ли, я скажу вам секрет: все это, быть может, было вовсе не сон' Ибо тут случилось нечто такое, что это не могло бы пригрезиться во сне. Пусть сон мой породило сердце мое, но разве одно сердце мое в силах было породить ту ужасную правду, которая потом случилась со мной?

Судите сами: я до сих пор скрывал, но теперь доскажу и эту правду. Дело в том, что я... развратил их всех!

 Да, да, кончилось тем, что я развратил их всех! Их всех... Как это могло совершиться -- не знаю, но знаю только, что причиною грехопадения был я. Как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. Они научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи. Это, может быть, началось невинно, с шутки, с кокетства, с любовной игры, в самом деле, может быть, с атома, но этот атом лжи проник в их сердца и понравился им. Затем быстро родилось сладострастие, сладострастие породило ревность, ревность -- жестокость... Не знаю, не помню, но скоро, очень скоро брызнула первая кровь: они удивились и ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться.

 Явились союзы, но уже друг против друга. Начались укоры, упреки. Они узнали стыд и стыд возвели в добродетель. Родилось понятие о чести, и в каждом союзе поднялось свое знамя. Они стали мучить животных, и животные удалились от них в леса и стали им врагами. Началась борьба за разъединение, за обособление, за личность, за мое и твое. Они стали говорить на разных языках. Они чуть-чуть лишь помнили о том, что потеряли, даже не хотели верить тому, что были когда-то невинны и счастливы. Они смеялись даже над возможностью этого прежнего их счастья и называли его мечтой.

Я ходил между ними, ломая руки, и плакал над ними, но любил их, может быть, еще больше, чем прежде, когда на лицах их еще не было страдания и когда они были невинны. Я говорил им, что все это сделал я, я один, что это я им принес разврат, заразу и ложь! Я умолял их, чтоб они распяли меня на кресте, я учил их, как сделать крест Я не мог, не в силах был убить себя сам, но я хотел принять от них муки, я жаждал мук, жаждал, чтоб в этих муках пролита была моя кровь. Но они лишь смеялись надо мной и стали меня считать под конец за юродивого. Они оправдывали меня, они говорили, что получили лишь то, чего сами желали, и что все то, что есть теперь, не могло не быть. Наконец, они объявили мне, что я становлюсь им опасен и что они посадят меня в сумасшедший дом, если я не замолчу. Тогда... И тогда я почувствовал, что снова умру... Тут... ну, вот тут я и проснулся.

 Было уже утро, то есть еще не рассвело, но было около шестого часу. Я очнулся в тех же креслах, свечка моя догорела вся и кругом была редкая в нашем доме тишина.

 И вот с тех пор я и проповедую истину, ибо я видел ее, видел своими глазами, видел ее славу! Кроме того -- люблю всех, которые надо мной смеются, больше всех остальных. Почему это так -- не знаю и не могу объяснить, но пусть так и будет. Они говорят, что я уж и теперь сбиваюсь, то есть коль уж и теперь сбился так, что ж дальше-то будет? Правда истинная: я сбиваюсь, и, может быть, дальше пойдет еще хуже. И, уж конечно, собьюсь несколько раз, пока отыщу, как проповедовать, то есть какими словами и какими делами, потому что это очень трудно исполнить. Я ведь и теперь все это как день вижу, но послушайте: кто же не сбивается! А между тем ведь все идут к одному и тому же, по крайней мере все стремятся к одному и тому же, от мудреца до последнего разбойника, только разными дорогами. Старая это истина, но вот что тут новое: я и сбиться-то очень не могу. Потому что я видел истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. А ведь они все только над этой верой-то моей и смеются. Но как мне не веровать: я видел истину, -- не то что изобрел умом, а видел, видел воочию, хотя и не умею пересказать, что я тогда видел. Но вот этого насмешники и не понимают: "Сон, дескать, видел, бред, галлюцинацию". Сон... Сон? А наша-то жизнь не сон? Больше скажу: пусть, пусть это никогда не сбудется: главное-- люби других как себя, вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо для своей то жизни... Своей Жизни...

(Мужчина на секунду умолкает, как бы задумавшись над выше сказанным им самим. Делает несколько шагов в глубину сцены. Останавливается и как бы вспомнив что то очень важное поворачивается и продолжает с тихой улыбкой:)

 -А ту маленькую девочку я отыскал... Вон, в песочнице играет... Теперь не пропадем, вместе...

(Снова поворачивается и усталой походкой направляется вглубь сцены. Вдруг, как будто что то увидев, преображается и бодро, с надеждой, как бы желая кого-то остановить, уходит за кулисы, откуда слышно: " Господин, простите великодушно!... У Вас не найдется 333 рубля? Ровно 333 рубля, не больше и не меньше? Нет? И у меня нет...)

Занавес